

Глава II. Петроград

Мои родители переехали в Санкт-Петербург, когда мне было тринадцать лет. Из-за порядков в немецкой школе в Кенигсберге и прусского отношения ко всему русскому, я выросла в атмосфере ненависти к этой стране. Я особенно боялась ужасных нигилистов, которые убили царя Александра II, такого хорошего и доброго, как мне преподавали. Санкт-Петербург был для меня чем-то зловещим. Но веселость города, его живость и блеск, скоро рассеяли мои детские фантазии и заставили город предстать волшебной мечтой. Тогда мое любопытство вызвала революционная тайна, которая, казалось, нависла над каждым, и о которой никто не смел говорить. Когда четыре года спустя я уехала со своей сестрой в Америку, я больше не была той немецкой Гретхен, для которой Россия означала зло. Вся моя душа была преобразована, и уже было посажено то семя, из которого выросло потом дело всей моей жизни. Особенно много сделал для этого Санкт-Петербург, оставшийся в моей памяти яркой картиной, полной жизни и тайны.

Я нашла Петроград 1920-го совершенно другим. Он был почти что в руинах, как будто ураган пронесся по нему. Здания были похожи на разбитые старые могилы на всеми позабытых заброшенных кладбищах. Улицы были грязными и пустынными; вся жизнь ушла из них. Население Петрограда перед войной было почти два миллиона человек; а к 1920 году оно сократилось до пятисот тысяч. Люди передвигались подобно живым трупам; нехватка еды и топлива медленно иссушала город; мрачная смерть хватала его за сердце. Изнуренных и обмороженных мужчин, женщин и детей гнала нужда в поиске куска хлеба или связки дров. Это был душераздирающий вид днем и гнетущая тяжесть по ночам. Особенно по ночам первого месяца в ужасном Петрограде. Полная тишина большого города была парализующей. Она постоянно преследовала меня, эта ужасная гнетущая тишина, нарушаемая только редкими выстрелами. Бывало, я лежала с открытыми глазами, пытаюсь постичь эту тайну. Разве Зорин не говорил, что высшая мера наказания была отменена? Для чего тогда эта стрельба? Сомнения беспокоили мой разум, но я пыталась отстранить их. Ведь я приехала, чтобы учиться.

По большей части, мои первые познания и впечатления от Октябрьской революции и дальнейших событий, я получила от Зориных. Как я уже упоминала, они оба жили в Америке, хорошо говорили по-английски, и стремились просветить меня в истории Революции. Они были преданы делу и работали очень много; в особенности он, который был секретарем Петроградского комитета своей партии, помимо редактирования ежедневной «Красной газеты» он участвовал во многих других делах.

Именно от Зорина я впервые услышала о такой легендарной фигуре как Махно. Махно был анархистом, мне сказали, что при царе он был приговорен к каторге. Освобожденный Февральской революцией, он стал лидером крестьянской армии в Украине, оказавшись чрезвычайно способным и отважным, сыграв выдающуюся роль в деле защиты Революции. В течение некоторого времени Махно действовал в союзе с большевиками, борясь с

контрреволюцией. Потом он стал враждебно настроенным, и теперь его армия, вобрав в себя бандитские элементы, сражается с большевиками. Зорин рассказал, что он был в составе комитета, посланного к Махно, чтобы добиться взаимопонимания. Но Махно не прислушался к доводам большевиков. Он продолжал свою войну против Советов и считался опасным контрреволюционером.

У меня не было никаких возможностей, чтобы подтвердить эту историю, и я была далека от того, чтобы не доверять Зориным. Они оба казались очень искренними и преданными своему делу, по типу религиозных фанатиков, готовых сжечь еретика, но также готовых пожертвовать собственными жизнями по той же причине. Я была очень впечатлена простотой их жизни. Занимая ответственный пост, Зорин, возможно и получал спецпак, но они жили очень скудно, их ужин, часто состоял лишь из селедки, черного хлеба, и чая. Я думаю, это было особенно замечательно, потому что Лиза Зорина была с ребенком в то время.

Спустя две недели после моего прибытия в Россию я была приглашена посетить вечер, посвященный годовщине (50-летию со дня смерти – прим. перев.) Александра Герцена, состоявшимся в Зимнем Дворце. Белый мраморный зал, где проходило собрание, казалось, усиливал жуткий мороз, но собравшиеся люди не обращали внимания на пронизывающий холод. Я также сознавала уникальность ситуации: Александра Герцена, одного из наиболее ненавистных революционеров своего времени, чтят в Зимнем Дворце! Часто и прежде дух Герцена находил свой путь в дом Романовых. Это было, когда «Колокол», изданный за границей, искрящийся блеском Герцена и Тургенева, каким-то таинственным способом оказывался на столе у царя. Теперь царей больше не было, но дух Герцена возвысился вновь и свидетельствовал о воплощении мечты одного из великих людей России.

В один из вечеров мне сообщили, что Зиновьев вернулся из Москвы и собирается видеть меня. Он прибыл около полуночи. Он выглядел очень усталым, его постоянно отвлекали срочными сообщениями. Наш разговор имел общий характер: о тяжелой ситуации в России, нехватке пищи и топлива, тогда особенно острой, и о трудовой ситуации в Америке. Он стремился узнать, «как скоро могла ожидать революция в Соединенных Штатах». У меня не осталось от него определенного впечатления, но я ощущала какой-то изъян в этом человеке, хотя и не могла найти в то время точных слов для этого.

Другим коммунистом, с которым я много виделась в первые недели, был Джон Рид. Я знала его в Америке. Он жил в «Астории», упорно работал и готовился к возвращению в Соединенные Штаты. Он должен был возвращаться через Латвию, и казалось опасался результата этой поездки. Он был в России во время октябрьских событий, и это было уже его вторым посещением России. Как и Шатов, он также настаивал, что темные стороны большевистского режима были неизбежны. Он пылко полагал, что советское правительство выйдет из узких партийных рамок и установит Коммунистическое Содружество. Мы провели много времени вместе, обсуждая различные стороны ситуации.

Пока я так и не встретила ни одного из анархистов, и их отказ от встречи скорее удивлял меня. Однажды друг, которого я знала еще в Штатах, приехал, чтобы спросить, хочу ли я видеть несколько членов анархистской организации. Я с готовностью согласилась. От них я

узнала версию Русской Революции и большевистского режима, совершенно отличающуюся от того, что я слышала прежде. Это было настолько потрясающим, настолько ужасным, что я не могла поверить этому. Они пригласили меня посетить их маленькое собрание, чтобы представить мне свои взгляды.

В следующее воскресенье я пошла на их конференцию. Проходя по Невскому проспекту, у пересечения с Литейным, я натолкнулась на группу женщин, теснившихся друг к другу, чтобы защититься от холода. Они были окружены солдатами, которые говорили и жестикулировали. Те женщины, как я поняла, были проститутками, которые продавали себя за фунт хлеба, кусок мыла или шоколада. Солдаты были единственными, кто мог позволить себе купить их из-за своего дополнительного пайка. Проституция в революционной России. Я задавалась вопросом: что коммунистическое правительство сделало для этих несчастных? Что сделали Советы Рабочих и Крестьян? Мой спутник печально улыбнулся. Советское правительство закрыло публичные дома и теперь пытается увести женщин с улиц, но голод и холод возвращают их снова; кроме того, солдатам нужно развлекаться. Это было слишком ужасно, слишком невероятно, чтобы быть реальным, но все же они там были – те дрожащие существа для продажи и их покупатели, красные защитники Революции. «Проклятые интервенты, блокада – они виноваты», – сказал мой спутник. Ведь да, виноваты контрреволюционеры и блокада», – я уверяла себя. Я попыталась отогнать мысли об увиденной группе, но они все равно преследовали меня. Я чувствовала, что что-то надломилось внутри меня.

Наконец мы пришли в квартиру, в которой проходило собрание анархистов. Она располагалась в обветшавшем доме в грязном заднем дворе. Меня провели в маленькую комнату, переполненную мужчинами и женщинами. Вид напоминал картины тридцатилетней давности, когда, преследуемые и гонимые с места на место анархисты в Америке были вынуждены встречаться в темном зале на Орчард-стрит в Нью-Йорке, или в темной задней комнате салуна. То было в капиталистической Америке. Но это – революционная Россия, которой анархисты помогли стать свободной. Почему им приходится собираться тайно и в таком месте?

Тем вечером и на следующий день я услышала подробное описание предательства Революции большевиками. Рабочие Балтийского завода говорили об их порабощении, кронштадтские моряки высказывали свою горечь и негодование теми людьми, которым они помогли прийти к власти и кто теперь стал их хозяевами. Один из выступавших был осужден на смерть большевиками за его анархистские идеи, но совершил побег и жил теперь на нелегальном положении. Он рассказывал, как у моряков отняли свободу их Советов, как каждое дыхание жизни подвергалось цензуре. Другие говорили о Красном Терроре и репрессиях в Москве, которые привели к броску бомбы в собрание Московского горкома Коммунистической партии в сентябре 1919-го. Они рассказали мне о переполненных тюрьмах, о насилии, осуществляемом над рабочими и крестьянами. Я слушала скорее нетерпеливо, поскольку все во мне кричало против этого обвинительного акта. Это казалось невозможным; этого не могло быть. Кто-то конечно ошибался, и вероятно это были они, мои товарищи, думала я. Они были неблагоразумны, нетерпеливы относительно скорейших результатов. Разве насилие не было неизбежно в революции, и оно не было вынужденным ответом большевиков на действия интервентов? Мои товарищи были

возмущены! «Замаскируйтесь так, чтобы большевики не узнали Вас; возьмите брошюру Кропоткина и попытайтесь распространять ее на советском митинге. Вы скоро удостоверитесь, сказали ли мы Вам правду. Прежде всего, уходите из Первого Дома Советов. Живите среди людей и у Вас будут все доказательства, в которых Вы нуждаетесь».

Каким ребяческим и возбужденным все это казалось перед лицом мирового события, которое произошло в России! Нет, я не могла доверять их историям. Я хотела бы подождать и изучить обстоятельства. Но мои мысли были в смятении, и ночи стали более гнетущими, чем когда-либо.

Настал день, когда мне представился шанс посетить заседание Петросовета. Это должно было быть двойное торжество по случаю возвращения Карла Радека в Россию и доклада Иоффе относительно мирного договора с Эстонией. Как обычно я пошла вместе с Зориными. Собрание было в Таврическом Дворце, прежнем месте заседаний Государственной Думы. Каждый вход в зал охранялся солдатами, сцена также была окружена ими, держащими свои винтовки на взводе. Зал был переполнен до самых дверей. Я была на сцене, а подо мной проплывало море лиц. Они выглядели оголодавшими и несчастными, эти сыновья и дочери народа, герои Красного Петрограда. Как много они перенесли ради Революции! Я чувствовала себя в большом долгу перед ними.

Председательствовал Зиновьев. После того, как «Интернационал» был исполнен вставшей аудиторией, Зиновьев открыл встречу. Он говорил подробно. Его голос звучал высоко, без глубины. В тот момент, когда я услышала его, я поняла, что я упустила в нем во время нашей первой полуночной встречи: силу характера. Затем появился Радек. Он был одаренным, остроумным, саркастичным, и он проявил уважение по отношению к контрреволюционерам и белогвардейцам. В целом это был интересный человек и интересное выступление.

Иоффе смотрелся дипломатом. Хорошо упитанный и ухоженный, он казался довольно неуместным на том собрании. Он говорил об условиях мира с Эстонией, который был встречен аудиторией с энтузиазмом. Конечно, эти люди хотели мира. Но когда мир придет в Россию?

Последним выступал Зорин. Безусловно, его речь была наиболее талантливой и убедительной из всех, прозвучавших на том собрании. Далее была объявлена открытая дискуссия. Меньшевик попросил слова. Немедленно началось столпотворение. Вопли «Предатель!» «Колчаковец!» «Контрреволюционер!» звучали отовсюду из зала и даже со сцены. Мне это показалось недостойным поступком для революционного собрания.

По пути домой я говорила с Зориным об этом. Он смеялся. «Свобода слова – буржуазное суеверие», – сказал он; «в революционный период не может быть никакой свободы слова». Для меня было довольно сомнительным подобное радикальное заявление, но я чувствовала, что не имею никакого права судить. Я сюда только приехала, в то время как те люди, что были в Таврическом Дворце жертвовали собой и страдали во имя Революции. Я не имела никакого права их судить.

